

Глава 1

Принстон летом не пах ничем, и хотя Ифемелу нравилась спокойная зелень множества деревьев, чистые улицы и величавые дома, магазины с ненавязчиво завышенными ценами и безмолвный, неизменный дух заслуженного благоденствия, именно это отсутствие запаха привлекало ее более всего, поскольку все прочие хорошо известные ей американские города пахли отчетливо. У Филадельфии имелся затхлый аромат истории. Нью-Хейвен пах заброшенностью. Балтимор — рассолом, а Бруклин — разогретым на солнце мусором. У Принстона же запаха не было. Ей нравилось дышать здесь глубоко. Нравилось смотреть на местных, водивших машины с подчеркнутой любезностью и оставлявших свои автомобили свежайших моделей рядом с магазином экологических продуктов на Нассо-стрит, или же у ресторана суси, или у лавочки с пятьюдесятью сортами мороженого, включая красный перец, или у почтового отделения, где безудержно приветливый персонал устремлялся встречать

их у самого входа. Ей нравился студгородок, насупленный от знаний, готические постройки с кружевными от вьюна стенами и как в полусвете вечера все преображалось в пространство призраков. Но более прочего ей нравилось, что в этом месте изобильной непринужденности ей удавалось прикидываться другим человеком, тем, кого лично приняли в освященный американский клуб, кого осенили определенностью.

А вот ездить в Трентон заплетать волосы ей как раз не нравилось. Требовать от Принстона парикмахерскую, где плетут косы, неразумно: те немногие черные местные, каких она тут видела, были такие светлокожие и висловолосые, что их с косичками и не вообразить, но все же, пока Ифемелу в паллящую послеобеденную жару ждала на станции Принстон-узловая своего поезда, она задумалась, почему *все же* тут негде заплести волосы. Плитка шоколада в сумке растаяла. Немногие прочие, ожидавшие вместе с ней на платформе, — все до единого белые, тощие, в короткой воздушной одежде. Стоявший рядом с ней мужчина ел рожок мороженого, что ей всегда казалось несколько безответственным: взрослый мужчина-американец ест рожок мороженого, в особенности если взрослый мужчина-американец ест рожок мороженого у всех на виду. Поезд догromыхал до станции, и мужчина обернулся к Ифемелу.

— Ну наконец-то, — произнес он с фамильярностью, какая возникает между незнакомцами, разделяющими недовольство той или иной общественной услугой. Она ему улыбнулась. Седеющие волосы зачесаны с затылка вперед — потешное ухищрение скрыть лысину. Наверняка ученый, но не из гуманитариев, иначе был бы застенчивее. Крепкая наука вроде химии небось. Прежде она бы сказала: «Знамо дело» — примечательное американское выражение согласия, а не знания, и затем завела бы с ним беседу — развеять, не скажет ли он что-нибудь полезное для ее блага.

Людам льстит, когда их расспрашивают о них самих, а если она помалкивает в ответ, их это подталкивает рассказывать дальше. Их приучили заполнять паузы. Если интересовались, чем она занимается, Ифемелу отвечала расплывчато: «Веду блог о стиле жизни», потому что от реплики «Я веду анонимный блог под названием “Расемнадцатое¹, или Разнообразные наблюдения черной неамериканки за черными американцами (прежде известными как негры)”» им становилось неловко. Впрочем, она все же произносила это несколько раз. Однажды — в беседе с белым мужчиной в дредах, который сидел рядом с ней в поезде, волосы как старые крученые веревки, косматые на концах, потасканная рубашка — знак благонадежности, убедивший ее, что перед ней боец-общественник и, возможно, окажется славным гостем в ее блоге. «Вокруг расы нынче перебор шумихи, чернокожим пора бы уже расслабиться, теперь все сводится к классовости, к имущим и неимущим», — сказал он невозмутимо, и с этой фразы она начала пост под названием «Не все белые американцы в дредах — свои в доску». А еще был человек из Огайо, втиснувшийся рядом с ней на каком-то авиAPERелете. Явно менеджер среднего звена: костюм-футляр, контрастный воротничок. Уточнил, что это значит — «блог о стиле жизни», и она объяснила, ожидая, что он тут же замкнется или в конце разговора брякнет что-нибудь хмуро-пошрое вроде «Единственная подлинная раса — человечество». Но он сказал: «Никогда про усыновление не писали? В этой стране черные детишки никому не нужны, и я не про межрасовых, а именно про черных. Даже черные семьи их не берут».

Доложил, что они с женой усыновили черного ребенка и соседи смотрели так, будто эта пара решила податься в мученики во имя невесть чего. Ее пост об этом: «Не так-то просты они, скверно одетые белые менеджеры среднего звена из Огайо», на него она получила в тот месяц больше всего

комментариев. До сих пор гадала, читал он тот ее текст или нет. Надеюсь, что читал. Она частенько, сидя в кафе, или в аэропортах, или на вокзалах, наблюдала за незнакомыми людьми, воображала себе их жизнь, раздумывала, кто из них, вероятно, следит за ее блогем. Теперь уже бывшим. Она выложила последний пост всего несколько дней назад, за ним потянулся хвост из двухсот семидесяти четырех комментариев — пока. Ее читателей прибывало что ни месяц, они ставили на нее ссылки, публиковали у себя ее посты, знали гораздо больше, чем она сама, — вечно пугали и вдохновляли Ифемелу. Сафический Деррида, один из самых частых комментаторов, написал: «Удивительно, до чего близко к сердцу я это все принимаю. Удачи вам с неведомыми “переменами в жизни”, но вы, уж пожалуйста, возвращайтесь в блогосферу поскорее. Своим дерзким, хулиганским, потешным и наводящим на размышления тоном вы создали пространство настоящего разговора на важную тему». Читатели, подобные Сафическому Дерриде, вываливавшие статистические данные и употреблявшие в комментариях слова вроде «овеществлять», нервировали Ифемелу, которая рвалась быть свежей, впечатлять и потому со временем начала ощущать себя стервятником, что обдирает остовы людских историй себе на пользу. Иногда с трудом увязывая сказанное с расовыми вопросами. Иногда не доверяя самой себе. Чем больше писала, тем меньше в ней было уверенности. Каждый следующий пост слущивал с нее очередную чешуйку самости, пока она не показала себе голой и фальшивой.

Мужчина-с-мороженым уселся в поезде рядом с ней, и, чтобы избежать разговора, она упорно глядела на бурое пятно у себя под ногами — разлитый фраппучино — вплоть до самого Трентона. На платформе толпились черные, многие — жирные, в короткой воздушной одежде. Ее по-прежнему изумляла разница, возникавшая за несколько минут езды на поезде. В первый свой год в Америке она съездила нью-джер-

сийским транзитным до Пенсильванского вокзала, а дальше на метро, в гости к тете Уджу во Флэтлендз², и ее поразило, что преимущественно щуплые белые сходили на манхэттенских остановках, а поезд катился дальше в Бруклин, и оставались в вагоне почти исключительно жирные черные. Но Ифемелу тогда не думала о них как о «жирных». Думала о них как о «крупных», потому что ее подруга Гиника чуть ли не первым делом сообщила ей: «жирный» в Америке — ругательное слово, в нем уйма осуждения, как в словах «тупой» или «ублюдок», это не просто описание человека вроде «низенький» или «рослый». Ифемелу исключила «жирный» из словаря. Но прошлой зимой это слово вернулось к ней — почти через тринадцать лет, когда человек за ее спиной в очереди в супермаркете пробормотал: «Жирным это барахло есть не стоит», когда она платила за громадный пакет «Тоститос». Ифемелу глянула на него изумленно, чуть обиженно и подумала, что вот он, идеальный пост для блога: чужой человек решил, что она жирная. Тэги к посту — «раса, пол, телесные размеры». Но, вернувшись домой, она встала перед зеркалом и приняла от него правду — осознала, что не обращала внимания, слишком долго, как туго теперь сидит на ней одежда, как трутся внутренние поверхности бедер, как подрагивают при движении ее мягкие округлости. Она и *впрямь* жирная.

Слово «жирная» она произнесла медленно, гоня его туда-обратно, и задумалась обо всем прочем, что выучилась не произносить в Америке вслух. Она была жирной. Не фигуристой и не ширококостной — жирной, и лишь это слово казалось правдивым. Не обращала она внимания и на бетонную тяжесть на душе. Дела у ее блога шли хорошо, тысячи новых посетителей в месяц, ей прилично платили за выступления, имелась стипендия в Принстоне и отношения с Блейном. «Ты абсолютная любовь моей жизни», — написал он ей в открытке на прошлый день рождения, и все же лежал у нее на душе бетон. Он там копился уже какое-то время — утренняя хворь

усталости, унылое отсутствие границ. Возникли вместе с этим бетоном и рыхлое томление, бесформенная жажда, краткие воображаемые отблески других жизней, какие она могла бы вести, и за несколько месяцев они сплывались в пронзительную тоску по дому. Она рыскала по нигерийским сайтам, по нигерийским профилям в «Фейсбуке», по нигерийским блогам, и каждый щелчок мыши приносил ей очередную байку о юнцах, вернувшихся домой облеченными американскими и британскими учеными степенями, и там эти молодые ребята основывали инвестиционные компании, музыкальные лейблы, запускали линейки модной одежды, журналы, франшизы общепита. Она смотрела на фотографии этих мужчин и женщин и чувствовала тупую боль утраты, словно они разжали ей пальцы и забрали что-то у нее самой. Они жили ее жизнью. Нигерия стала местом, где Ифемелу полагалось быть, единственным, где она могла бы пустить корни без постоянного позыва выдернуть их оттуда и отрясти почву. И конечно, там же был Обинзе. Ее первая любовь, первый любовник, единственный человек, которому никогда не нужно было ничего растолковывать. Теперь он уже и муж, и отец, они не общались много лет, и все же не могла она сделать вид, что его нет в ее тоске по дому или что она о нем не думает, часто, перебирая их прошлое, ища знаки того, что ей не удавалось называть.

Незнакомец-хам в супермаркете — кто знает, с чем *ему*, изможденному, тонкогубому, приходилось сражаться, — стремился обидеть ее, а на деле разбудил.

Она принялась планировать и мечтать, искать работу в Лагосе. Блейну поначалу ничего не говорила — хотела завершить стипендиальную работу в Принстоне, а затем, когда та завершилась, не сказала, поскольку хотела повременить — чтобы уж не сомневаться. Однако шли недели, а не сомневаться все не получалось. И потому Ифемелу сказала ему, что возвращается домой, и добавила:

— Мне надо, — зная, что он распознает в ее словах не-обратимость.

— Почему? — спросил Блейн, едва ли не машинально, ошарашенный ее объявлением. Они сидели у него в гостиной в Нью-Хейвене, в волнах тихого джаза и дневного света, она смотрела на него, своего доброго оторопелого мужчину, и ощущала, как этот день приобретает печальное, эпохальное свойство. Они прожили вместе три года, три года вдоль от-тюженной складки, вплоть до единственной ссоры, несколько месяцев назад, когда взгляд у Блейна заиндевел от осуждения и он отказался с ней разговаривать. Но ту ссору они пережили в основном благодаря Бараку Обаме, воссоединились вновь — общей на двоих страстью. В ночь выборов, перед тем как Блейн с мокрым от слез лицом поцеловал Ифемелу, он ее крепко обнял, словно победа Обамы была их личной победой. А теперь она говорила ему, что все кончено. «Почему?» — спросил он. У себя на занятиях он рассказывал об оттенках и сложности, а тут затребовал единое объяснение, *причину*. Однако прямого озарения у нее не случилось, причины не было, просто оседала слой за слоем неудовлетворенность, из нее сложился груз, он-то и двигал Ифемелу. Этого она Блейну не сказала: ему было бы обидно узнать, что все это началось у нее не вчера, что их отношения — все равно что радоваться своему дому, но вечно сидеть у окна и смотреть наружу.

— Возьми растение, — сказал он ей в тот день, когда они виделись в последний раз, когда она собирала вещи, что держала у него в квартире. Вид у него был побитый, он стоял на кухне, поникнув плечами. Растение было его, из этого дома, бодрые зеленые листочки на трех бамбуковых стеблях, и когда она приняла его, внезапное сокрушительное одиночество пронзило Ифемелу и застряло у нее внутри на многие недели. Время от времени она ощущала это одиночество до сих пор. Как можно скучать по чему-то, чего уже не хочешь?